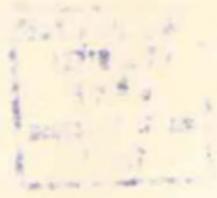


Е.Ю.
КУЗЬМИНА-
КАРАВАЕВА



Избранное



МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1991



КАК Я БЫЛА ГОРОДСКИМ ГОЛОВОЙ*

I

В таком маленьком городке, как А., революция должна была почувствоваться не только как непомерный сдвиг в общерусской жизни, но и как полная перетасовка всех местных отношений. «Деятели», перед этим наперегонки стремившиеся добиться благоволения старого правительства и при помощи властей изничтожить друг друга, стали в революционном порядке искать новых возможностей и связей и ими пользоваться во взаимной борьбе.

Пока верхи старались, так сказать, «оседлать» события и заставить революцию послужить им на пользу, низы жили совершенно особой жизнью. Я говорю не только о массе мещан, но и об интеллигенции — учителях, чиновниках, раньше в большинстве случаев стоящих далеко от политики. Настало время, когда все почувствовали не только обязанность, но и потребность совершенно забыть о привычном укладе жизни, о своих ежедневных делах и принять участие в общем деле революции. Все двигали ее чрезвычайно сумбурно и непоследовательно, говоря целыми днями на митингах, в родившихся профессиональных союзах, в бесчисленных заседаниях и у себя дома. Митинги шли в курзале, — как бы официальные, — и около электрической станции, — менее людные и носившие более случайный характер.

На фоне этой новой, путаной и сумбурной жизни старая Городская Дума теряла всякий авторитет. Сильная группа гласных, поддерживавших голову Барзинского — человека очень скомпрометированного, — конечно, не могла взять движение в свои руки. Барзинский принужден был подать в отставку. Дума доживала последние дни. А ей на смену спешно выбирался гражданский комитет.

Положения о выборах гражданского комитета были нам присланы из центра. Голосование должно было быть всеобщим, прямым, равным и тайным. Не привыкшие еще к организации граждане валом валили голосовать. Но так как предварительного сговора о кандидатах почти не было, то каждый голосовал за нескольких ему лично хорошо знакомых соседей и приятелей. В результате на 40 мест

* Мне пришлось многие имена заменить псевдонимами, ибо ряд действующих лиц описываемых событий остались в России. (Примеч. автора.)

членов комитета было более тысячи кандидатов, причем большинство их получало 10—20 голосов. А победителями на этих выборах вышли лица, заранее сталкивавшиеся и успевшие отпечатать листки с наименованием кандидатов. Сделала это группа противников бывшего городского головы. Получился такой результат: граждане, получающие список, вычеркивали из него только тех, кто был для них заведомо неприемлем, и вписывали особо желательных на их место. Но так как каждый вычеркивал и вписывал разных лиц, а безразличные кандидаты не вычеркивались, то в общем почти весь список прошел.

Гражданский комитет был выбран ранней весной 1917 г. В то же время начали организовываться партийные группы. Не помню сейчас, имели ли свою организацию немногочисленные наши кадеты, — кажется, что нет, а большинство их вошло в аполитичный, но достаточно по отношению к революции оппозиционный союз домовладельцев. Народных социалистов было в группе 5—6 человек. Несмотря на это, группа имела значительный вес, так как ее членом был депутат первой Думы выборжец Мягков — человек очень талантливый и опытный в общественной работе, но, к сожалению, благодаря своей болезни, абсолютно неуживчивый и желчный. Он чужих мнений переносить не мог и выражал свое неприязненное отношение ко всем инакомыслящим настолько резко, что создавал себе везде личных врагов.

Меньшевики насчитывали несколько больше членов — человек до 15. Но их слабость заключалась в том, что эти 15 человек делились на плехановцев, интернационалистов и т. д. Кроме того, лидера у них не было, а все принадлежали к средним интеллигентским кругам — представителей народных масс у них тоже не было.

Наконец, самой многочисленной группой была группа партии социал-революционеров. И в то время, как другие партии страдали от безлюдья, эсэры, насчитывавшие 500 членов, этим именно и ослаблялись.

В партию эсэр повалили все. Шла в нее та масса, о которой я уже упоминала, раньше стоявшая далеко от политики, а тут вдруг почувствовавшая известную психологическую необходимость принять участие в общем деле и стремящаяся найти пути к этому делу через партию, шли лица, желающие забронировать свою мещанскую сущность ярлыком партийной принадлежности, шли из-за моды, шли, наконец, потому, что это было самое левое, самое революционное, проникнутое ненавистью к старому

строю и, значит, способное ломать. И ломать — это было то, что постоянно заполняло все мысли.

Конечно, ни о какой партийной идеологии не приходилось говорить. В минуту уж слишком явных уклонений от общей линии поведения партии приходилось ссылаться на постановления ЦК и на партийную дисциплину. Незначительная часть членов группы — старых работников — почувствовала себя в меньшинстве. На них надо остановиться. Учитель Сомов и его жена — очень принципиальные и честные люди, через которых события перехлестнули сразу, инженер или техник — не помню — Малышев, более или менее способный руководитель партийной массой, штукатур Воронов, раньше увлекавшийся террором, исключительно преданный партии человек, единственный, может быть, настоящий эсэр из всей группы, слесарь Мальков, эсэр, скорее, по воспоминаниям, обуржуазившийся и обросший огромной семьей, — это все группа будущих эсэр, примыкающих к партии.

И будущие левые эсэры — Инджеболи, студент, ловкий и беспринципный человек, демагог, провокатор и предатель, и Арнольд, председатель группы, бывший максималист, каторжанин, благодаря своему прошлому абсолютно и непререкаемо авторитетный среди массы, захваченной революцией, мстительный, неорганизованный, бесчестный и демагог.

И после бурных партийных собраний мне иногда становилось страшно. Ведь это было лето 1917 г. Партия эсэр была фактически самой мощной в России. И авторитетность партийного центра, а отчасти и Временного правительства, покоилась на таких вот, как наша, мелких группах, разбросанных по всей России. Из центра не видно, может быть, а на местах совершенно ясно, что все идет хорошо, пока нет ничего более сильного, чем Временное правительство, но в момент любой, самой незначительной неустойки все здание может рухнуть, потому что фактически на поддержку местных людей рассчитывать не приходится. И крушение будет тем сильнее, чем сильнее сейчас переоценка своих сил.

Летом 1917 г. я уже знала, что наша группа может рассчитывать только на единицы. При мало-мальски сильном толчке большинство — мещанское — просто отойдет, а другая половина уклонится в любой вид максимализма — о большевиках мы тогда мало думали, но теперь-то ясно, что именно большевистские элементы составляли значительную часть нашей группы.

И любопытно расценивалось это все интеллигентами из обывателей. Меня, например, не спрашивали, отчего я состою в партии эсэр, а только недоумевали: «Как вы можете состоять в одной группе с Арнольдом». И на самом деле, это было очень трудно и несносно.

В августе была избрана новая Дума. Выборы шли уже по твердым спискам. Большинство получили эсэры. Но так как у нас не было кандидата, который в смысле опытности мог бы конкурировать с Мягковым, то он и был избран городским головой.

А раньше новой Думы был организован Совет солдатских и рабочих депутатов.

Солдат у нас, правда, не было тогда, кроме сотни пограничной стражи, да и рабочих не было, потому что подавляющее количество наших ремесленников были собственниками своих предприятий и наемных служащих не имели.

Но все же Совет организовался. Каждая партийная группа дала в него по три представителя, профессиональные союзы дали представителей пропорционально своей численности. Председателем Совета был избран некий Мережко, человек, истинную сущность которого я не берусь и сейчас установить. Называл он себя с.-д. В выступлениях своих проявлял тот же уклон к анархическому, по профессии он был частным поверенным и владел многими домами на Охте в Петербурге. Когда он у нас появился, я не знаю, только помню, что он нам доверия не внушал с самого начала. Это чувство еще усилилось после одного случая. Дело в том, что наша буржуазия, раздраженная тем, что первыми лицами в городе стали люди типа Арнольда, Мережки и т. д., начала против них поход, и надо сказать, довольно удачный. Виноградарь Ключь предъявил Мягкову письмо Мережки, из которого с очевидностью явствовало, что до революции он занимался освобождением молодых людей от мобилизации, взимая за это немалую мзду. Мягков официально снесся с Советом. Совет фактически был поставлен в необходимость вынести суждение о деятельности своего представителя.

Опять голоса разделились. В меньшинстве остались старые партийные работники, без различия их партийной принадлежности, и, главным образом, люди интеллигентные. Громадное большинство Совета, люди в политике новые, а часто и вообще малограмотные, под предводительством Арнольда постановило не судить Мережку и вообще оставить это дело без последствия.

Мы настаивали только на разборе дела, не предпреляя нашего к нему отношения. Этого требовало элементарное желание охранить Совет от всяческих нареканий. Опять подымалось чувство какой-то безнадежности. Очевидно, народная масса, составлявшая большинство Совета, совершенно по-иному, чем мы, воспринимала даже такие бесспорные вещи, как необходимость общественному деятелю себя реабилитировать в случае брошенных ему обвинений. И вывод, который тогда и не делался, пожалуй, потому, что слишком сильна была вера в правду революции, — но вывод ведь напрашивался сам собой — массе с нами не по пути. Придут люди, которые сумеют развязать ей руки, и тогда она польется по совершенно другому руслу. В этом была неизбежность большевизма. И в нашем городке, как в капле воды, отражалось все, что делалось в России.

К осени, таким образом, в А. были три законные власти — Городская Дума, Гражданский Комитет и Совет. Очень трудно было разграничить компетенцию этих властей, и на этой почве происходили всяческие трения.

В конце августа я уехала по делам в Москву и Петроград. Там были иные настроения. Основное было то, что и раньше казалось мне неизбежным, — полная оторванность от нашей низовой психологии. И оторванность эта не сознавалась: думали, что на низы именно и опираются. Должна сказать, что настолько это заблуждение было сильно, что, пожив некоторое время в центре, я решила, что мои впечатления являются результатом стечения каких-либо особенно неблагоприятных обстоятельств в А. и это не правило, а исключение.

Теперь, оглядываясь назад и часто слыша упреки по адресу правящей тогда революционной демократии, я всегда считаю, что главным пунктом ее защиты от обвинения в том, что довели дело до большевистского восстания, надо было бы выдвинуть общую настроенность русского народа, которую изменить нельзя было. И этот пункт слишком мало использован, потому что, может быть, и до сих пор лидеры и вожди не учитывают в полной мере, над какой пропастью они стояли и каким подвигом было это стояние — пусть подвигом и не осознанным до конца.

II

Всю осень я провела в разъездах. Другие дела отвлекали меня от жизни города, и только на Рождество, отре-

занная от центров России, я вынуждена была осесть и занялась городскими делами. За это время многое изменилось. Расслоились настроения. Многие в первое время революции, захваченные общим течением, совершенно отошли от политики. Общая подавленность чувствовалась во всех. Оторванность от центров сказывалась в полной невозможности понять и оценить события.

Должна только подчеркнуть, что к концу декабря 1917 г. у нас на весь город был только один большевик Костыркин, сиделец казначейства, бывший городской. К нему относились как к чему-то чрезвычайно комическому и нелепому и, несмотря на общую преднастроенность к развалу, все же не могли понять, каким путем этот развал осуществить.

Жизнь замерла. Ждали событий. На Рождество пришел первый эшелон солдат с кавказского фронта. Так как А. лежит далеко от железной дороги, то и солдаты у нас появились только свои — с детства мне известные Васьки и Мишки. Но теперь они были неузнаваемы. Все они были большевиками, все как бы гордились тем, что привезли в город нечто совершенно неведомое и истинное.

Апатия, охватившая местных жителей, давала возможность этим солдатам голыми руками взять власть. Но беда в том, что они великолепно понимали, что брать власть у них некому. И на этом основании ограничивались устройством бесконечных митингов.

Надо сказать, что при ближайшем рассмотрении все эти пророки новой эры за малым исключением показывались людьми очень искренними и совершенно невероятно темными, с таким винегретом в мозгах, что просто, бывало, не знаешь, с какого конца начинать с ними спор. И весь винегрет подкреплялся таким авторитетным тоном, такой уверенностью, что именно так думают Ленин и Троцкий, что просто диву приходилось даваться.

Убедившись, что при полной возможности взять власть в свои руки у них не хватает вождей, солдаты послали за варягами в Новороссийск. В конце января оттуда прибыл некий товарищ Протапов, латыш, еще молодой человек, бывший в ссылке, имеющий известный опыт и талантливый диктатор. Этот неведомый нам человек был призван владеть городом.

Первый же митинг, руководимый им, постановил организовать военно-революционный комитет, будущую полную правную власть города. С удивлением узнали мы, что, кро-

ме нескольких большевиков-солдат, в комитет вошел и наш партийный товарищ Инджебели.

Воронов, Малышев и я в экстренном порядке создали группу для обсуждения поведения Инджебели.

Группа собралась — увы — теперь состав постоянных собраний не превышал человек 20.

Я была главным обвинителем Инджебели. Я цитировала постановления ЦК о том, что члены партии, входящие в состав руководящих большевистских организаций, тем самым исключаются из партии, я предлагала мирно разойтись с тем, чтобы Инджебели заявил себя левым эсэром — и пусть даже за ним пойдет большинство — лишь бы хоть незначительное число осталось в группе, — от прямых ответов он уклонялся, но заявлял, что считает необходимым присутствие в комитете своих людей, что за Учредительное собрание будет сейчас манифестировать только буржуазия и т. д. Группа молчала. Только Воронов, Малышев и Сомов поддержали меня. Да еще один член группы поразил точным определением разницы партий: «Эсэры говорят — пусть вчерашний господин и вчерашний раб будут сегодня равными, а большевики говорят — пусть вчерашний раб будет сегодня господином, а господин рабом».

Во всяком случае, собрание наше не дало никаких результатов.

На следующий день я встретила на улице Протапова. Он меня остановил и сказал: «Вы имейте в виду, что о вашем вчерашнем выступлении против в.-р. комитета я уже осведомлен и очень вам советую бросить это — для вас же лучше». На мой недоуменный вопрос, о чем идет речь, он ухмыльнулся и заявил: «Вчера в час ночи Инджебели примчался ко мне и рассказал обо всем, что у вас происходило, прося принять меры против вас. Будьте довольны, что он попал ко мне — я доносчиков не люблю».

Картина была, конечно, совершенно ясной. Наша группа не могла дальше существовать, раз она не могла выбросить из своей среды предателя.

А большевики, организовав в.-р. комитет и охранную роту, начали постепенно забирать всю власть в свои руки. Дума еще держалась. Но под ударом был городской голова Мягков, благодаря тому что личное отношение к нему у всех было отвратительное.

Надо было как-то иначе защищать Думу и противопоставить большевистской политике не брюзжание и желчь

Мягкова, а политику защиты тех ценностей, которыми владел город.

Мне предложили выставить свою кандидатуру на пост товарища городского головы. Я согласилась — тем более что в моем владении должны были быть отделы народного здравия и образования.

После моего избрания — приблизительно в конце февраля — Мягков подал в отставку. Должна сказать, что если бы я эту отставку, да еще так сразу после моего избрания, предвидела, я бы, всего вероятнее, отказалась от выставления своей кандидатуры. С уходом Мягкова я становилась сразу заместителем городского головы. Вся административная работа, все городские финансы ложились на меня. Но это в тот период не должно было пугать, потому что вся практическая часть работы управы постепенно сводилась на нет. Страшнее и ответственнее было то, что я фактически олицетворяла в себе ненавистную большевикам демократическую власть, что я поставлена одна лицом к лицу с ними. Мои товарищи по Управе не были сильной поддержкой. Малышев начинал леветь и приближался к позиции Инджебели, оставаясь по существу просто порядочнее его, а Зубенко был трусовый обыватель. Дума тоже не давала мне прочного большинства, так как партийная наша фракция явно раскалывалась, а беспартийные, которых было порядочно, относились к моему избранию так, что гласный Стадник был прав, когда заявил: «Що мы наробыли. Голову скинули, тай бабу посадили, та еще молодую бабу». Сознаюсь, что я сама была с ним в большой степени согласна. Действительно «наробыли».

Приходилось на свой страх и риск выработать линию поведения. Главными моими задачами были — защитить от полного уничтожения культурные ценности города, способствовать возможно нормальной жизни граждан и при необходимости отстаивать их от расстрелов, «морских ванн» и пр. Это были достаточно боевые задачи, создававшие иногда совершенно невозможные положения. А за всем этим шла ежедневная жизнь с ее ежедневными заботами, количество которых, правда, постепенно уменьшалось, так как большевики все прочнее захватывали власть и к нам обращалось все меньше народу.

Городская Дума медленно умирала.

В этот период был создан новый, уже большевистский совет с председателем Протаповым.

В ведение в.-р. комитета отошли только всякие воен-

ные дела. Гражданский фронт уже обнаружился, и военная работа у большевиков кипела.

Надо только сказать, что наш большевистский совет имел некоторые особенные черты. Все партийные группы, в том числе и большевики, были в нем представлены на равных началах. Большинство голосов большевикам давали представители солдат и профессиональных союзов. Причем многие из них не были ни большевиками, ни даже большевистски настроенными людьми, а просто будто решили, что время требует от них голосования за большевистские резолюции.

Партийные же люди под влиянием оторванности от центра заняли такую позицию — входить на равных началах во все большевистские учреждения невоенного характера и тем самым получать там большинство — так называемое «взрывание изнутри».

III

Недели через две после моего избрания положение Думы стало настолько двусмысленным, что надо было решаться на какие-либо экстренные меры. Надо было выбирать — или испить чашу унижения до конца и влачить свое существование до тех пор, пока его будут терпеть большевики, или вступить с ними в решительную борьбу, не останавливаясь перед возможными жертвами и будучи уверенными в конечном поражении, или, наконец, сделать красивый жест и сложить с себя полномочия.

У Думы хватило мужества отказаться от первого решения. Для второго не было достаточно сил, и, по существу, гласные не представляли из себя однородную массу, без чего вопрос о борьбе сам по себе отпадал. Остановились на третьем решении. Дума вынесла постановление, что ввиду создавшегося положения, ввиду засилия большевиков она считает ниже своего достоинства продолжение своего существования и на этом основании все гласные слагают с себя полномочия, передав их Управе. Основной задачей, завещаемой Думой Управе, является защита материальных и культурных ценностей, находящихся во владении города, и налаживание мало-мальски возможных нормальных условий жизни граждан.

Причин такому решению было много: и стремление оградить Думу, как учреждение демократическое, от насилия советской власти, и желание выйти из двусмысленного положения при помощи красивого жеста, и полное

отсутствие веры в свои силы, и, наконец, личный страх многих гласных оказаться чрезмерно одиозными перед большевиками.

Как бы то ни было, решение было принято единогласно. Управа не протестовала. Отчасти разношерстный состав гласных не давал нам необходимой поддержки, а отчасти, пожалуй, и на самом деле было легче исполнять думскую программу в небольшом управском составе. Мы были гибче и подвижнее. Мы могли решать каждое конкретное дело, не прибегая к шумным и вызывающим резолюциям.

Обычная управская работа постепенно совершенно исчезла. Всегда полные коридоры Думы пустели. Жизнь пробивала себе иное русло. Наши ежедневные управские заседания носили довольно нелепый характер. Сотни дел прошли в них. И вынося резолюции по этим делам, мы великолепно понимали, что, по существу, все этими резолюциями и ограничивается, потому что исполнительный аппарат ускользал из наших рук.

Сначала это положение заставило меня задуматься о целесообразности моего пребывания на посту городского головы. Я было хотела уйти. Но потом количество дел иного порядка, необходимость противопоставить советской власти хоть что-нибудь и определенная потребность у граждан иметь в лице Управы хоть какую-то защиту заставили меня остаться.

Прежде чем говорить о конкретной работе, которую приходилось вести, я хотела бы указать на одно чрезвычайно любопытное явление, отмеченное тогда многими.

Мое положение было достаточно прочным, и я могла многого добиваться, главным образом потому, что я — женщина. Объяснить это можно различно. На мой взгляд, объясняется это тем, что большевистски настроенная масса в самом факте существования городского головы-женщины видела такую явную революционность, такое сильное отречение от привычек старого режима, что как бы до известной степени самым фактом этим покрывались, с большевистской точки зрения, контрреволюционные мои выступления. Я была, так сказать, порождением революции — и потому со мной надо было считаться.

С другой стороны, мне прощалось многое, что большевики не простили бы ни одному мужчине. Между нами шла известная конкуренция. Если я открыто заявляла, что считаю постановление Совета глупым и доказывала, что я права, им было обидно, что женщина оказалась дальновиднее их, и в этой плоскости шла вся борьба.

И наконец, третьим элементом в их отношениях ко мне была просто уверенность, что я достаточно смела. Не берусь утверждать, что на самом деле это так, но фактически это могло так казаться благодаря тому, что только таким образом можно было работать. Если я в результате какого-нибудь спора с Советом чувствовала, что дело идет к моему аресту, я заявляла: «Я добьюсь, что вы меня арестуете», на что горячий и романтический Протапов кричал: «Никогда. Это означало бы, что мы вас боимся».

Чтобы дать представление о моей работе того времени, я ограничусь перечислением дел, в которых приходилось принимать участие. Многие из них полны подлинного трагизма, но большинство давало материал для анекдотов. Ни о каком плане в работе, разумеется, не могло быть и речи. Приходилось отвечать только на потребность каждого дня.

Самым анекдотическим случаем была история с союзом жен запасных. Он насчитывал до трех тысяч человек. Женщины в огромном большинстве были настроены большевистски. Они вообще имели бы большое значение в жизни города, если бы поддавались хоть в какой-нибудь степени организации.

Помню их первое, еще до большевиков, собрание, на которое первоначально не допускались ни мужчины, ни женщины — не жены запасных. Но после двух часов бесплодного крика по поводу выборов президиума пришлось это строгое правило отменить. В качестве варягов были приглашены я — председательствовать и учитель И. — секретарствовать. Помню, что обращались ко мне: «Мадам председательша», и результаты собрания были все же сумбурные. Эти самые жены запасных получали в начале каждого месяца известное пособие в Управе. Сумма пособия по сравнению с растущей дороговизной была ничтожна и колебалась в зависимости от количества членов семьи. Получали по 22 р. 50 к., по 57 р. 25 к. и т. д. А в казначействе, захваченном уже большевиками, мелких денег почти не было и на все мои требования выдавались тысячерублевые бумажки.

Однажды дело с разменом этих билетов приняло такой оборот, что я не на шутку испугалась разгрома всего управского здания. Женщины требовали мелочи и грозили расправой.

Мне пришла в голову мысль использовать их настроенные, чтобы получить мелочь из казначейства. Я вышла к ним и предложила им строиться по десяти в ряд, чтобы

идти в в.-р. комитет с требованием мелочи. Моя грандиозная армия только что начала выстраиваться, когда за мной прибежал служащий звать к телефону: в.-р. комитет, оказывается, узнал уже о мобилизации женщин и просит в срочном порядке распустить их, а кассира прислать в казначейство за мелочью. Таким образом, я победила и кроме того убедилась, что есть способы довольно верные, чтобы проводить свою линию...

Перед своим роспуском Дума рассматривала проект раздачи большого количества земли на окраинах по дешевой цене для постройки на них домов. А., благодаря своей курортной известности, росла быстро. Планы мешан скупались дачниками, а местные жители оказывались бездомными. С возвращением с фронта большого количества солдат вопрос о квартирах встал очень остро, и Дума решила с торгов распродать часть городской земли.

Но митинг, организованный советом, к сожалению, нас предупредил. Он вынес резолюцию о необходимости немедленно приступить к землемерным работам и к немедленной раздаче участков в 150 кв. саженей всем, кто не имеет еще в городе плана. В первую очередь бумажки с номерами участков должны тянуть фронтовики, потом все бездомные. Плата за участок — 25 руб. — столько, сколько стоит землемерная работа. Дума должна санкционировать это решение, потому что если что и изменится в будущем — участок должен быть законно приобретенным. Продавать его нельзя, незастроенные в течение десяти лет участки отходят опять к городу. Кажется, это и все правила.

Дума восстала. Во-первых, она считала, что 150 кв. саженей слишком мало для одного плана и что таким образом мы застроим площадь, почти равную всему городу, совершенно малоценными постройками. А. же принадлежит известная будущность как курорту, и потому о ее благоустройстве надо особенно заботиться. Дума предлагала делать в отведенных местах широкие улицы, большие площади для садов, более обширные планы для школ, сами участки увеличить, сразу же приступить к мощению улиц и к проведению электричества, что займет безработных, вернувшихся с фронта, а для проведения этих работ взимать за каждый участок не по 25 рублей, а по разверстке — что они будут, стоять. Гласный сам размышлялся даже о городе-саде. Но митинг заявил, что широкие улицы, площади и большие планы слишком удалят крайние участки от города, всяческие удобства

являются буржуазным предрассудком и что гражданам совершенно достаточно 150 саженьей. Если Дума не согласна с этим постановлением — пусть пеняет на себя. Дума подчинилась. Этот инцидент был, пожалуй, решающим в вопросе ее самоликвидации. Уж очень все нелепо получалось...

Надо сказать, что анекдоты выходили не всегда по инициативе большевиков. В А., как в тихом городе, далеко от всяческих центров, скопилось очень много беженцев с севера. Сначала они получали откуда-то деньги, потом стали проедать свои вещи, наконец, вещей не осталось. Приходилось приниматься за работу. Интеллигентного труда не было. В Управе лежали десятки прошений на должность учителя. Приходили ко мне ежедневно целыми толпами в поисках заработка. Наконец, организовали «союз трудовой интеллигенции». Представители союза пришли ко мне. Они просили участок городской огородной земли на песках — я обещала. Они просили также всяческих сельскохозяйственных орудий и лошадей — я и на это согласилась. Просили еще картошки и других семянных материалов — тоже согласилась. Тогда обратились с самой неожиданной просьбой — им нужны деньги, чтобы оплачивать поденных рабочих, так как большинство их работать не может. Эту просьбу я, конечно, удовлетворить не могла. Дело рассыпалось. И только потом союз выделил артель чернорабочих, поденно ходивших перекапывать виноградники. Я видела их на работе. Впереди всегда шел нотариус из Николаева, потом наши местные привычные девчата и далеко сзади — артель. Помню, что я обратила внимание на то, что во время работ у девчат из-за виноградных кустов совершенно не видно лопат, а у интеллигентов все время ручки лопат под кустами. Оказывается, девчата суют в землю лопату наклонно, мелко копают и каждый раз переворачивают значительное пространство земли, подвигаясь вперед более, чем на четверть аршина. Интеллигенты же суют лопату перпендикулярно к поверхности, входит она у них глубоко, поэтому они каждым ударом продвигаются не более, чем на один-два вершка...

Эта приезжая масса страдала невероятным паникерством. Помню, устраивали мы в пользу нашей партийной группы лекцию профессора Сеницына. В день лекции прибежал сначала ко мне, а потом и к Сеницыну один присяжный поверенный — беженец с предупреждением, что ему достоверно известно, что лекция будет сорвана, а организаторы и лектор арестованы.

Я сначала не поверила ему. Но потом с теми же вестями примчались две дамы. Наученная уже опытом, что с большевиками надо действовать напрямик и кроме того сильно разозленная, я пошла в в.-р. комитет. Там было только несколько солдат, его членов. Не давая возражать себе, я накинулась на одного из них. Я возмущалась тем, что при полном отсутствии у нас культурных развлечений такое полезное начинание, как популярная лекция, встречает к себе дикое отношение большевиков.

В ответ на мою длинную речь смущенный солдат заявил, что они действительно виноваты — до сих пор не взяли билета, — но они думали, что это можно сделать при входе, а пойти собираются все. На этот раз я была посрамлена.

Вообще все мои столкновения с интеллигентным беженством создали уверенность, что среди них крепких людей искать не придется...

В стремлении оградить нормальную жизнь граждан я наткнулась на то, что в поисках всяческой контрреволюции большевики очень часто тревожили учителей, арестовывали их на несколько дней и тем самым останавливали занятия в школах. В подвале одного училища нашли патроны, в библиотечном шкафу другого училища — глупейшую прокламацию. Надо было как-нибудь прекратить эти поиски и дать возможность детям учиться. Я созвала учительский союз, выяснила ему обстановку и мои задачи и предложила им комбинацию, по которой они воздержатся от лишнего фрондерства, а я перед лицом большевиков беру всю ответственность за их благонадежность на себя. Собственно, по существу, я не рисковала, потому что основным настроением нашего учительства в данный момент была обывательская трусость. А с другой стороны, мой жест произвел на большевиков определенное впечатление. Фраза и жест вообще были у них наивысшими добродетелями.

Но все же некоторые осложнения мне пришлось ликвидировать довольно трудно. Помню одно из них. Ко мне в кабинет пришла учительница с просьбой помочь ей. Муж ее, тоже учитель, встретил на улице двух незнакомых матросов, разговорились. Они назвали себя делегатами черноморского украинского флота. Тогда у нас была сильно распространена легенда о грядущем украинском десанте. Учитель, как на беду, оказался ярым украинцем. Распоясавшись, наговорил им с три короба о наших надеждах на освобождение при помощи украинского флота. Выслушав

все его речи, матросы заявили, что пойдут доносить на него в в.-р. комитет.

С этим делом пришлось повозиться основательно, доказывая комитету, что, во-первых, никакого украинского флота не существует, а во-вторых, — сами эти делегаты лица достаточно недостоверные...

В этот приблизительно срок начал у нас действовать революционный трибунал. Как я уже говорила, идея взрыва власти изнутри была у нас широко развита. На этом основании трибунал организован из представителей всех партий, по 2 человека от каждой. Такой состав обескровил его с самого начала, и действительно ни одного судебного процесса он не довел до конца, так как суд не мог сговориться. Только по одному делу вынесли общественное порицание и арест на один день. Причем ночью в каталажку (тюрьмы у нас не было) члены трибунала принесли арестованному собственные простыни и подушку...

В этот же период случилось событие, которое потом чуть не кончилось для меня катастрофически.

Митинг постановил реквизировать санатории бывшего городского головы доктора Барзинского. Началось там нечто невообразимое. Тогда более благоразумные из граждан предложили передать заведование санаториями Управе, имеющей для этого дела готовый аппарат. Я колебалась. В реквизиции я, конечно, ни за что не стала бы принимать участия, ни лично, ни от имени Управы, которая на это не имела права. Но нас поставили перед совершившимся фактом. С одной стороны, принять имущество в свое ведение напоминало сохранение заведомо краденой вещи, а с другой — общее положение об охране культурных ценностей, находящихся в городе, диктовало необходимость взять и это дело в свои руки, чтобы не дать возможности разграбить ценное медицинское имущество санатории. И хотя за отказ от этого дела говорило кроме всего и то, что при ликвидации большевиков доктор Барзинский не постесняется обвинить меня в чем угодно, я согласилась от имени Управы временно вступить в заведование санаторией. Мы назначили туда врача и сестер милосердия, по описи приняли все имущество и установили минимальный порядок в пользовании им. Несколько меня подбодрила обращенная ко мне просьба аптекаря Н. принять также в ведение города и аптеку, потому что в противном случае она может быть разгромлена по постановлению какого-нибудь митинга. До сих пор не знаю, как бы я поступила теперь в подобном случае, думаю, что пра-

вильно понятое гражданское мужество и точное следование своей программе защиты культурных ценностей подсказали бы мне опять то же решение...

Еще один характерный случай. В городе на электрической станции кончилась нефть. Я решила поехать в Н. и попытаться раздобыть там нефть. Одновременно со мной выехал солдат Литовкин, председатель продовольственной Управы, занимавший какое-то среднее место между нами и советом.

В Н. местные власти согласились нам отпустить нефть только в обмен на пшеницу. Но условия обмена были совершенно безбожные. Я запротестовала. Литовкин сначала тоже не соглашался, потом вдруг хитро мне подмигнул и стал уступчивее. Я продолжала протестовать. Тогда он вытащил свои советские полномочия, заявил, что я являюсь представителем старого режима, и предложил писать договор. Сначала он по поводу каждого слова начинал спорить, потом стал поглядывать на часы, потом попросил распорядиться заранее выдать ордера на нефть, так как надо нам спешить на поезд, а десятский ждет.

Ордера были выданы. Десятский отправился получать нефть. Условия были составлены.

Тогда Литовкин сорвался, заторопил меня и заявил, что нам надо бежать на поезд — иначе мы опоздаем.

На улице я начала ругать его за уступчивость. Он заявил с хохотом: «Ведь условия не подписаны, нефть-то мы даром получили»...

Трудным моментом в работе были взаимоотношения с отдельными служащими, которые в случае каких-либо недоразумений шли в в.-р. комитет и оттуда возвращались ко мне с приказаниями.

Существовал закон, по которому все мобилизованные и замененные другими служащими по возвращению имели право получать свои старые места. В таком положении был городской садовник Иван, человек скромный и знающий. Но за время его отсутствия его место было занято пьяницей и хулиганом — имени не помню. Все мои попытки водворить Ивана на старую службу разбивались о нежелание его заместителя уйти. Тогда я решила прибегнуть к более серьезным мерам, этот человек обратился за защитой в комитет, и тот ультимативно потребовал от меня не увольнять его. А в частной беседе один из членов комитета говорил, что садовник занимался определенным доношением на меня и что вопрос об оставлении садовника

стал для комитета вопросом принципиальным. Пришлось долго бороться, прежде чем развязать себе руки...

Этот же закон дал в результате одно из самых трагических событий этого периода. У Управы был свой юрисконсульт — помощник присяжного поверенного Дашкевич. Он был мобилизован и поступил в Московское юнкерское училище. Во время большевистского восстания бежал и оказался в А.

Бывший городской голова назначил его начальником милиции. Когда с приходом большевиков положение Дашкевича пошатнулось, гор. гол. Мягков просил его все же оставаться на своем посту и обещал ему полную поддержку и защиту. Авторитет Мягкова был настолько велик, что Дашкевич не только уверовал в свою прочность, но и стал держать себя достаточно агрессивно.

Я видела, что вопрос, в конце концов, идет о жизни Дашкевича и у нас нет никаких сил, чтобы защитить его. Надо было не обострять этого дела. Управа решила его уволить. Он подчинился, но, во-первых, обиделся, во-вторых, попросил содержания за три месяца вперед. Служил же он месяца два.

С трудом удалось уговорить его в интересах личной его безопасности быть умереннее.

Но через несколько дней он опять явился в Управу с требованием назначить его юрисконсультom, ссылаясь на тот же закон, что и садовник Иван. Юрисконсульт получал у нас вознаграждение из процентов от выигранных дел. В это время все судебные дела стояли. Материальной заинтересованности Дашкевич в этом месте не имел. Но, видно, кто-то настраивал его на фрондерски боевой лад. Он с принципиальной точки зрения подходил к вопросу о своем назначении. Надо сказать, что был он далек от политики, веселый, выпивающий, прожигающий жизнь. Жажды геройства мы в нем раньше не замечали.

Я с ним имела долгий разговор наедине. Вместо назначения юрисконсультom предлагала немедленно скрыться, указывая на безопасное место у виноградарей, предлагала денег и подводу. Для него момент был в достаточной степени критическим, и я была в полной мере о том осведомлена, да и от него ничего не скрыла. Но он с непонятным упорством настаивал на своем.

Может быть, все и обошлось бы благополучно, если бы в это время не прибыла из Н. делегация черноморского флота во главе с пьяным матросом Пирожковым.

Начались повальные обыски. Случайно я узнала о су-

ществовании проскрипционного списка, привезенного матросами. В нем предназначались к потоплению все наши бывшие городские головы, среди них и Барзинский и Мягков, потом Дашкевич, потом и другие лица.

Не только граждане, но и совет был окончательно терроризирован.

Матросы потребовали с совета контрибуцию в 20 тысяч рублей. Совет не хотел давать, но и отказывать не решался. Председатель совета решил созвать митинг и тем самым перенести ответственность на безличную массу граждан.

Я пошла на митинг. До начала, походив между нашими стариками-мещанами, я установила, что давать ни у кого нет желания, но что никто об этом не заявит.

Пришли, наконец, матросы и президиум совета. Председатель доложил о требовании «красы и гордости революции». В зале царило молчание.

Я попросила себе слово. Когда я проходила к трибуне мимо председателя, он остановил меня и шепотом сказал: «Вы полегче. Это вам не мы — не постесняются».

Но я твердо была уверена, что при той опереточной активности, которой тогда были охвачены все большевики, есть способ наверняка с ними разговаривать.

Я подошла к кафедре и ударила кулаком по столу: «Я хозяин города, и ни копейки вы не получите».

В зале стало еще тише. Председатель Протапов опустил голову. А один из матросов заявил: «Ишь, баба».

Я опять стукнула кулаком: «Я вам не баба, а городской голова».

Тот же матрос уже несколько иным тоном заявил: «Ишь, амазонка».

Я чувствовала, что победа на моей стороне.

Тогда я предложила поставить мое предложение — на голосование. Митинг почти единогласно согласился со мной. В контрибуции было отказано. Любопытно, что матросы хохотали.

Я считала, что успех мой кратковременный, и даже подумывала, не уехать ли мне на несколько дней на виноградники.

Но перед вечером пришло ко мне двое гласных. Они только что узнали о проскрипционном списке, и решили просить меня ввиду утренней удачи попытаться еще раз воздействовать на матросов.

Я чувствовала почти полную невозможность что-либо сделать, но была принуждена согласиться.

Вечером, после заседания совета, я попросила това-

рища Воронова помочь мне, так как не хотела оставаться одна с матросами, и мы повели с ними беседу. Я не помню сейчас, что я говорила. Знаю, что среди шуток моих собеседников фигурировала часто «одна, но хорошая морская ванна». Знаю, что у меня были попытки тоже шутить. Я говорила, что когда придет Корнилов (а о нем у нас стали все чаще и чаще поговаривать), то не кто другой, как я буду их всех от виселицы отстаивать. Были и моменты серьезного разговора. Работала не голова, а перенапряженные нервы. Кончилось все же тем, что они дали мне формальное обещание никого из обозначенных в списке не трогать. Я вернулась домой совершенно разбитая.

А утром узнала, что матросы еще не уехали, но успели арестовать нескольких лиц, и среди них Дашкевич.

Двое из арестованных, видимо, просто в последнюю минуту откупились. А Дашкевич и учитель Резский остались на катере.

Потом катер отчалил. Между А. и Новороссийском Дашкевич и Резский были потоплены. Тел их не удалось разыскать.

Это трагическое событие заставило меня сильно задуматься. Я решила бросить свою неблагодарную работу.

Кроме того, внешние события окончательно определяли наше положение.

IV

Весь наш юг начинал сильно волноваться развивающимся фронтом гражданской войны. Вначале только глухо упоминалось имя Корнилова. Потом о нем забыли и стали говорить о борьбе с Кубанским Краевым Правительством.

К началу марта разговор принял более конкретный характер. Правительство и Рада оставили Екатеринодар. Началась гражданская война.

Большевики шли на эту войну с легким сердцем — подавляющее количество войск обеспечивало им, казалось, быструю победу.

Даже дошедшие до нас сведения о соединении кубанцев с Корниловым не меняли картину. У них было, по большевистским данным, три тысячи бойцов при трех полевых орудиях, а у большевиков — до 70 тысяч бойцов и более 30 орудий.

Кроме того, и в смысле расположения сил преимущества были на стороне большевиков. Они все время попол-

нялись приходящими из Трапезунда в Новороссийск частями, с северо-востока пополнения шли к ним из Закавказья по железным дорогам, с севера центральная власть якобы тоже посылала подкрепления.

Несмотря на недоверие к большевистским источникам, у нас всех все же было чувство, что дело Корнилова обречено. Оставалось совершенно загадочным, на что рассчитывают вожди его. Единственным объяснением казалось, что людям все равно нечего терять и идут они в порыве мужества, отчаяния.

Чуть ли не ежедневно приходили сведения, что Корнилов уже убит. Говорили о том, что кадры его — помимо незначительного количества офицеров — исключительно текинцы и горцы. Вылущить хоть крупицу истины из всего вздора, который приходилось слышать, было очень трудно. Единственное, что не подлежало сомнению, — это самый факт существования фронта гражданской войны.

У нас была произведена мобилизация. Шли довольно безразлично. Образовалась шестая рота, заслужившая потом довольно громкую известность. Кажется, под станицей Полтавской она была введена в бой. Не знаю отчего, но вышла она из боя победительницей и скоро вернулась домой. Солдаты были нагружены награбленным добром. Тащили коров, навьюченных подушками и самоварами. Первая удача очень способствовала упрочению воинственного духа у наших мещан. Второй отряд был организован из добровольцев. Бабы гнали своих мужей воевать.

Двинулось на фронт к станице Афинской человек 150. Дня через четыре вернулись. Было около 80 человек раненых. Добычи не везли. Раненых разместили в санатории.

Утверждаю, что среди них был самый незначительный процент большевистски настроенных людей. Общая масса поддавалась какому-то гипнозу, что вот настало время, когда все возможно, когда грабить и убивать позволительно, когда все вообще расхлесталось. И шли на грабеж и убийство с какой-то непонятной наивностью и невинностью. В сущности, моральным оправданием до известной степени им было то, что большевики вели их, как стадо баранов, на убой. В ротах было очень мало солдат — основного большевистского кадра. Они предпочитали оставаться в А., оберегать город от местных контрреволюционеров.

А наши мобилизованные мещане рассказывали такие чудеса, что у меня впервые мелькнула мысль о том, что дело Корнилова далеко не безнадежно.

Один контуженый рассказывал, как его огромный снаряд прямо в спину ударил — до сих пор болит отчаянно.

Другой повествовал, как где-то в камышах они окружили Корнилова со всех сторон. С вечера навели на середину кольца всю артиллерию и начали палить. Палили до утра, в полной уверенности, что все, находящиеся в кольце, уже убиты. Утром кинулись в атаку, а в кольце никого не оказалось — Корнилов успел незаметно проваться.

Была я в эти дни однажды в городской школе. На перемене прислушалась к разговору детей. Один повествовал: «У кадетов диты били, били. Наши их як капусту порубили».

Видимо, неудача второго отряда заставила главарей задуматься. Решили мобилизовать офицеров. Ко мне в Управу пришел брат-офицер и встретился с председателем совета Протаповым, который ему с усмешкой заявил, что вот, мол, решили заставить офицеров советскую власть защищать.

Мой брат спокойно заявил, что он не пойдет.

Протапов закипятился и стал грозить расстрелом.

Брат сказал: «Уж это ваше дело. Меня не касается».

Видимо, Протапов поверил в его твердость и вместе с тем не хотел быть принужденным расстреливать. Когда во время регистрации он по алфавитному списку дошел до фамилии моего брата, то остановился и сказал: «Нет, впрочем, достаточно. Остальные свободны».

Все происходящее тупило нервы, приводило в какое-то странное состояние. Терпеть становилось невыносимо. Теперь, пожалуй, ясно, что вся моя программа охраны культурных и материальных ценностей города была не под силу одному человеку. Но тогда при всякой моей попытке бросить дело являлись различные люди — учителя, врачи, беженцы-интеллигенты — и просили меня остаться до конца. Собственно, они переоценивали мое значение и мои силы, но видна была потребность иметь между собой и властью хоть какой-нибудь буфер, рассчитывать хоть на какую-нибудь защиту.

Наконец, этому был положен предел. В середине апреля Совет постановил упразднить Управу, а членов ее сделать комиссарами — таким образом, я должна была стать комиссаром по народному здравью и народному образованию.

Узнав о своем высоком назначении, я отправилась в Совет народных комиссаров и на заседании заявила, что

мои политические убеждения не позволяют мне быть большевистским комиссаром и что на этом основании я прошу считать меня выбывшей.

К моему удивлению, не кто другой, как мой бывший партийный товарищ Инджебели заявил, что мой способ действия называется саботажем и на этом основании он предлагает Совету отставки мне не давать и силком заставить работать.

Я повторила, что работать не буду.

Выходя из заседания (оно происходило в думском помещении), я встретила сына бывшего гор. гол. Барзинского. Он просил меня ввиду тяжелого материального положения их семьи помочь его отцу в следующем деле. Доктор Барзинский в свое время купил дачный участок у города, но сделка до сих пор не была оформлена. В данный момент он имеет возможность неофициально продать этот участок — 400 кв. саж. за 15 тысяч, — для чего необходима подпись городского головы. И доктор Барзинский прислал своего сына просить меня об этой подписи.

Я спросила, знает ли он, что Управа упразднена и чем я рискую, давая подпись по должности, которая фактически не существует. Он ответил, что знает это и что вообще просит дать подпись задним числом.

В конце концов, это входило в мою программу. Я согласилась.

Чтобы отойти от дел, я на несколько дней уехала в сады.

Вернувшись через три дня, чтобы взять в моем управском столе кое-какие бумаги, в Управе на лестнице я встретила Протапова.

Он заявил мне, что за время моего отсутствия пришло на мое имя письмо из Новороссийска. Он его распечатал и узнал, что это приглашение на эсэровскую губернскую конференцию. На этом основании им уже выдано распоряжение меня из города не выпускать. Глумление начиналось самое явное.

Вместе с Протаповым я вошла в бывший кабинет городского головы. Там оказался какой-то мне незнакомый человек. Протапов познакомил нас, назвав его новороссийским комиссаром труда Худаниным, а меня комиссаром просвещения. Таким образом, в глазах Худанина я смело могла сойти за большевичку.

Протапов вышел.

Я спросила Худанина, когда он едет обратно в Новороссийск. Оказалось, что через полчаса и на своем комис-

сарском автомобиле, я попросила его взять меня с собой. Он согласился.

Провожать знатного гостя вышло все начальство, т. е. все те, кому было дано распоряжение меня не выпускать. Протапов, видимо, не подозревал о моем намерении и спокойно разговаривал с Худаниным.

В последний момент, когда Худанин уже сидел в машине, я вскочила на подножку и на глазах у всех моих сторожей уехала. Впечатление у них было сильное, но, видимо, не хотели подымать истории перед знатным гостем.

На следующий день в Новороссийске, разыскав нужных мне людей и попав на конференцию, я рассказала всю историю своего путешествия. Видимо, в Новороссийске дело было серьезнее и большевистская власть не носила того опереточного характера, как у нас.

На конференции я была избрана делегатом на 8-й совет партии.

Но до поездки в Москву я решила заехать домой.

От железнодорожной станции до А.— 30 верст — пришлось ехать со случайным попутчиком, начальником местного гарнизона Волкорезом.

Это, между прочим, одна из любопытнейших фигур большевизма в провинции.

Человек малограмотный, но с железной волей и энергией, он принял большевизм как некое откровение. После двухчасового совместного путешествия я уже имела возможность точно знать, что он принадлежит к тем искренним, судьба которых — сначала разочароваться, а потом погибнуть.

И несмотря на всю враждебность мою не только к большевизму, но и к большевикам, при встрече с такими людьми я чувствовала жалость.

Приехали в А. вечером. Добираться на виноградники было поздно, и я решила переночевать в санатории у моей приятельницы, сестры Т. У нее в комнате мы засиделись долго.

Часов в одиннадцать ночи в городе раздался взрыв, а потом частая трескотня револьверов. Кто-то вошел и заявил, что это начался обстрел знаменитым украинским флотом.

Вскоре сестру вызвали к телефону. Оттуда она пришла бледная и подавленная. Просили, оказывается, прислать санитаря с носилками. Протапов ранен, а с ним и два брата-гимназиста.

Я вышла позднее других. Улица была безлюдна. В од-

ном только месте встретила двух солдат. Не узнала их, но инстинктивно вынула свой револьвер. Один из солдат сделал то же самое, и мы встретились так в упор, а потом еще долго шли, пятясь, с наведенными револьверами.

В доме, где лежали раненые, была страшная суета. У них были совершенно зеленые лица — очевидно, таков был состав взрывчатого вещества в брошенной бомбе. С трудом удалось перенести их в санаторию.

Был вызван врач для извлечения пуль. В то время, как он производил операцию, ворвалась шайка пьяных солдат со штыками наперевес. Все мы были в таком нервном состоянии, что я с доктором начала за штыки их выхватывать.

Протапов умер через полчаса, не приходя в сознание. Один гимназист умер на рассвете. Другого надеялись спасти.

Это была самая дикая и страшная ночь за все время. В санаторию врывались ежеминутно пьяные солдаты, кто-то истерически плакал, доктор и медицинский персонал метались в панике.

К утру начали готовиться к торжественному перенесению тел в залу.

Меня отозвал один солдат, Степанов, очень близкий к Протапову, и сообщил совершенно невероятную вещь.

Оказывается, за мое отсутствие Протапов арестовал троих солдат, причастных к грабежам, имевшим место за последнее время. А так как центром грабительской организации был в.-р. комитет и члены его испугались, как бы и до них очередь не дошла, то они и решили убить Протапова. Во время боя он выпустил все заряды из своего парабеллума, но только ранил одного человека.

Теперь идет вопрос о виновниках убийства. Есть две версии, поддерживаемые военно-рев. комитетом, т. е. организаторами убийства. По одной — в убийстве виноваты ранее арестованные три человека, что хотя фактически и немислимо, зато дает возможность главарям сразу избавиться от опасных свидетелей.

Другая версия — увы — поддерживаемая, главным образом, Инджебели, обвиняла в убийстве контрреволюционеров, — то ли в лице буржуазии, то ли в лице разогнанной Управы, то ли в лице меньшевиков и эсэров.

Но так как фактически все три названные группы были достаточно пассивны, то они были персонифицированы

мною. Инджебели выдвигал версию, что я являюсь если не исполнителем, то организатором убийства.

Нужды нет, что приехала из Новороссийска за полчаса до убийства, нужды нет, что у меня с Протаповым хорошие личные отношения.

После этих предупреждений Степанов скрылся. Я прошла в зал, где стояли два гроба с целой стеной красных знамен над ними.

В ту минуту я не знала, на что решиться.

Вечером на заседании совета обсуждалась кандидатура Инджебели на пост председателя. Он разворачивался вовсю.

Профессор Синицын, как человек, бывший со мной в приятельских отношениях, был арестован первым. Сидел он в одной камере с мнимыми убийцами, и допрашивали его, наведя на него пулемет.

Был создан митинг, вынесший авторитетное суждение по вопросу, кого считать убийцами. Он приговорил арестованных грабителей к расстрелу. Тела их валялись долго на площади перед Управой. Но эта смерть прошла незаметно: в те дни никого ничем нельзя было удивить.

Мне же делать было больше нечего. Полулегально я выехала в конце апреля.

v

Полгода, проведенные мною в Москве, и та работа, в которой пришлось принимать участие, не входят в план этих воспоминаний.

Для того лишь, чтобы было понятно дальнейшее, я должна сказать, что, возвращаясь из Москвы домой в октябре 1918 г., я думала, что ни у кого не может быть сомнения в активной антибольшевистской работе той организации, членом которой я состояла. Я ни минуты не предполагала, что за добровольческим фронтом мне грозит какая-нибудь опасность и, устав за полгода шатания по всей России, полгода риска и конспирации, сильно подумывала об отдыхе в своей тихой А.

Но все то, что определяло мою антибольшевистскую работу в советской России, по эту сторону фронта оказалось почти большевизмом и, во всяком случае с точки зрения добровольцев, чем-то преступным и подозрительным.

В Екатеринодаре люди, знающие обстановку, советовали мне запросить сначала своих, а потом уже ехать.

Большевики были изгнаны из А. 15-го августа. Генерал Покровский, взяв А., поставил сразу перед Управой виселицу. Началась расправа с большевиками и вообще со всеми, на кого у кого-либо была охота доносить. Среди других доносительством занялся бывший городской голова доктор Барзинский, из этого я могла, конечно, заранее сделать соответственный вывод для себя лично.

Казнили Инджебели. После вынесения приговора он, говорят, валялся в ногах пьяного генерала Борисевича и кричал: «Ваше превосходительство, я верный слуга его величества». Генерал отпихнул его сапогом.

Казнен был Мережко за то, что был председателем совета еще при Временном правительстве. Перед смертью он получил записку от жены: «Не смотри такими страшными глазами на смерть». Когда потом через несколько месяцев тело его откопали, в руке Мережко нашли эту записку, залитую кровью. Жена его взяла ее и носила потом на груди.

Казнили начальника отряда прапорщика Ержа и помощника его Воронкова. Ерж не был большевиком и во время отступления решил перейти к добровольцам. В коляске он подъехал прямо к помещению городской стражи и был сразу арестован. Судили его и Воронкова вместе с эсэром слесарем Мальковым. Говорить не дали и вынесли смертный приговор. Мальков успел спросить, а как же он. Только тогда пьяные судьи-офицеры заметили, что перед ними не два, а три преступника, и отпустили Малькова на свободу.

Казнили винодела Ж. Его вина заключалась в том, что он поступил на службу в реквизируемый большевиками подвал акционерного общества «Капитал».

Казнили солдата Михаила Ш. тоже за службу в этом подвале. Дополнительно его обвинили в краже 200 тысяч у «Капитала». Допытываясь, куда он девал эти деньги, избили его так, что он сошел с ума и сам разбил себе голову об угол печки. Везли его на казнь разбитого, лежащего плашмя на подводе, сумасшедшего и громко орущего песни.

Казнили матроса Редько. Он перед смертью говорил, что сам бросал офицеров в топки.

Арестное помещение при городской страже полно.

Все эти новости произвели на меня удручающее впечатление.

Но, с одной стороны, полугодовая работа против большевиков как будто обеспечивала меня от чрезмерных кар, а с другой — податься было некуда, и я просто устала.

Со станции позвонила домой. Брат долго не мог поверить, что это я с ним говорю. А потом только спросил: «Зачем ты приехала?»

Моя семья жила еще в саду, в 6 верстах от А. Общее настроение домашних было таково, что я решила не томить их ожиданием и на следующий день отправилась в город и прописалась в адресном столе, что по нашим нравам далеко не обязательно. Во всяком случае, я подчеркнула, что не скрываюсь. А после этого зашла еще к сестре Т., которая служила в гарнизонном госпитале. У нее познакомилась с начальником гарнизона полковником Ткачевым. После этого вернулась домой.

Вечером во дворе раздался какой-то шум. Брат вышел из комнаты и через минуту позвал меня.

Оказывается, приехал взвод конных казаков, чтобы меня арестовать.

Было уже темно, и брат предложил мне использовать его офицерское право и отослать казаков с тем, что на следующее утро он сам доставит меня в каталажку.

Я чувствовала, в каком он неприятном положении, и решила ехать сейчас.

Запрягли подводу. Вокруг скакали казаки с винтовками. Брат вызвался меня проводить. Перед городом он сказал мне только: «Если это кончится плохо, я с почтением своего Георгия и погоны отдам Деникину».

Приехали ночью. В каталажке освещения не полагалось. Поместили меня в большой камере для вытрезвления пьяных. На нарах не было даже соломы. Окно было разбито, и из него немилосердно дуло. Утром к этим подробностям прибавилась печка, угол у которой был весь в крови: тут, оказывается, бился сумасшедший Ш.

Во время умывания — мылись во дворе — познакомилась со всеми обитателями «дворца комиссаров». Священник С., некстати служивший панихиды и бывший уже без меня комиссаром по бракоразводным делам; комиссар финансов Е., чахоточный молодой человек, служивший писарем у податного инспектора; старик какой-то, обвиненный в том, что для сигнализации большевикам спалил свой собственный хутор, а хутор стоял цел и не-

вредим, и не горел даже; а главное — все убийцы Протапова, все большевики уголовные — они не расстреляны и не очень волнуются за свою судьбу.

На свидание ко мне пускали мать, брата и тетку, которая в это время вообще очень энергично защищала перед всяческими властями осужденных.

Однажды во время свидания мы услышали дикие крики из соседней камеры: пороли одного только что арестованного. Когда я узнала, кто он, то решила, что вообще его часы сочтены, так как для нас не было тайной, что он один из главных организаторов грабежей и убийца Протапова. Но оказалось, что порют его только за то, что он в пьяном виде на базаре обнял начальника контрразведки князя Трубецкого. Потом его скоро отпустили.

Мое дело было в ведении двух учреждений: военной контрразведки и следственной комиссии.

Начальник контрразведки с глазу на глаз в моей камере советовал мне уговорить мою мать продать ему по дешевой цене вино.

Председатель следственной комиссии был более умелым взяточником.

Брату моему он предложил внести 10 тысяч как залог за меня. Но предлагал он это с глазу на глаз, а брат имел наивность принести деньги при свидетелях. Он заявил тогда, что ничего подобного он брату не предлагал. На допросах я выяснила, что главным свидетелем обвинения по моему делу является доктор Барзинский со своими служащими — с одной стороны, и члены правления общества «Капитал» — с другой. Обвиняют, помимо факта моего невольного комиссарства, в том, что я была инициатором реквизиции санатории и подвалов «Капитала». Дело, по существу, дутое, но явно стремление Барзинского до суда продержать меня в каталажке.

Моя тетка сговорилась с защитниками и ездила для этого в Екатеринодар.

Однажды она сообщила мне, что одна дама, очень близкий для Б. человек, просила ее пригласить защищать меня находящегося в А. московского присяжного поверенного Успенского. Он был гласным Московской Думы от п. с.-р., при большевиках у нас держал себя двусмысленно и был близок с Барзинским.

От этого предложения я решила уклониться.

Мое дело не попало в ближайшую сессию чрезвычайного полевого суда. Суд приехал к нам из Темрюка. Накануне начала заседаний председатель суда пришел в ката-

лажку. После нескольких вопросов, обращенных ко мне, он предложил мне озаботиться внесением трех тысяч залога и обещал выпустить меня на свободу.

Брат отнес ему эти деньги, и вечером я была свободна, дав предварительную расписку о невыезде. Было поздно, и я не могла взять с собой матраса и других вещей, которыми обросла за полуторамесячное сидение. Вечером отмылась от грязи и вшей и на следующее утро должна была идти заканчивать каталажные дела.

Брат с утра уехал в сад. А я пошла в Управу, где должен был происходить суд. Там застала подсудимого Саковича, спокойного, в сюртуке. Он был уверен в своем оправдании. Потом я прошла к знакомым.

Через час было там получено сведение, что Сакович приговорен к смертной казни. Мы все этому не поверили.

Я отправилась на извозчике в каталажку за матрасом. В кордегардию посторонних не пускали, но меня пустили, так как там лежали мои вещи. В углу я увидела Саковича. Он был бледен, галстук съехал набок. Вокруг стояли казаки с винтовками. Я подошла к нему. Он начал быстро говорить: через 24 часа его расстреляют — надо сказать жене, что он хочет есть и курить, главное — курить. Я дала ему свои папиросы и побежала к его жене.

Там я застала полную растерянность. Жена была вне себя, одиннадцатилетняя дочь рыдала, какие-то дамы не знали, что делать.

Я передала его просьбу и предложила немедленно отправить телеграмму Мягкову, который был в Екатеринодаре в качестве члена Рады, Сакович, как и Мягков, был н.-с.

Жена просила меня диктовать ей, так как она ничего не соображала.

Я продиктовала: «Муж приговорен к смертной казни»... В соседней комнате раздался страшный крик. Оказывается, она скрывала от дочери приговор и сказала, что отец приговорен к четырем годам тюрьмы.

Вернувшись домой, я распечатала записку, полученную моим братом от нашего большого друга. Брата звали в Управу.

Мы с матерью решили пойти туда, так как брат был все еще на винограднике.

В Управе была толпа, но тишина царила подавляющая. Когда я вошла в коридор, предо мной люди расступились и смотрели мне вслед, как обреченной.

Я разыскала нашего друга. Он отвел меня в сторону и

стал говорить: «Зачем вы пришли сюда? Разве вы не понимаете, чем вы рискуете? Вы должны этой же ночью скрыться. Я вам помогу. Не будьте ребенком».

Я ничего не понимала.

Он стал уговаривать мою мать, чтобы она повлияла на меня.

Я просила рассказать, что ему известно. Оказывается, его заверили, что из контрразведки выдано три ордера на арест и заранее известно, что арестованные будут при попытке к бегству убиты. Один ордер на мое имя.

В тот сумасшедший день все это казалось очень вероятным.

Я только догадалась спросить его, кто это ему сказал. Оказывается, присяжный поверенный Успенский. Барзинский будто тоже знает и предупреждал.

Это меня успокоило, но все же вопрос не был разрешен.

Из суда я отправилась прямо к коменданту города и начальнику гарнизона полковнику Ткачеву.

Он меня принял. Я ему предложила арестовать меня немедленно, так как я не хочу теряться по дороге.

Он с удивлением смотрел на меня. Ему о моем аресте ничего не известно. Я же настаивала.

Тогда он вызвал князя Трубецкого, а меня отправил к сестре Т., живущей в том же помещении.

Через двадцать минут он пришел к нам и сообщил сведения из контрразведки: Трубецкой получил донос, что я собираюсь бежать, и принял уже меры, чтобы поймать меня на дороге.

— При этом, конечно, возможны всякие случаи,— добавил полковник Ткачев.

Таким образом, я чуть было не стала жертвой самой отчаянной провокации.

На следующий день суд уехал.

Я начала подготавливаться к своему процессу: списалась с защитником. Он в первую очередь перенес мое дело в Екатеринодарский краевой суд. Там было больше законности и гарантий.

Часто являлись ко мне незнакомые люди, предлагали свои услуги в качестве свидетелей. Какие-то две неизвестные дамы случайно слышали мой спор с Инджебели по вопросу о борьбе с большевиками. Один офицер присутствовал при моем разговоре с аптекарем, один молодой человек, недавно пробравшийся из Москвы, случайно знал, чем я там занималась, и т. д.

Барзинский в свою очередь не останавливался на полпути. Он являлся к моим свидетелям, доказывал им, что я виновата, часто грозил. Таким путем ему удалось нескольких запугать.

Во всех этих приготовлениях очень трогательную роль играл бывший сослуживец моего отца, председатель какого-то окружного суда, живший в А. в качестве беженца. Он чуть ли не ежедневно являлся к нам и устраивал репетицию суда. Он изображал всех: и председателя, и прокурора, и защитника, и всеми силами старался меня сбить, а я должна была защищаться. Он так и входил в комнату с возгласом: «Подсудимая, ваше имя, возраст» и т. д.

Все это было трогательно и забавно.

VII

Наконец настал день суда — 2-е марта 1919 г. Пришлось предварительно основательно поспорить с защитниками: они, во-первых, настаивали, чтобы я не выступала иначе, как по их просьбе. А кроме того требовали, чтобы я не базировала своей защиты на принадлежности к партии с.-р., так как этот факт сам по себе, с точки зрения суда, достаточно предосудительный. В конце концов я настояла на своем. А они, да и другие адвокаты, предупреждали меня, что я должна быть готова минимум к четырехлетнему пребыванию в тюрьме. Судилась я по приказу № 10; наказание по моей статье колебалось от смертной казни до трех рублей штрафа.

Перейду к самому процессу. Главным свидетелем обвинения был доктор Барзинский. Не стоит вспоминать всего, что он говорил. Самым характерным в его выступлении было предъявленное им письмо, полученное им в свое время от одного из служащих санатории. Тот, мол, зашел на огонек на заседание Думы, происходившее под председательством городского головы такой-то (т. е. под моим председательством), — она предложила реквизировать санатории, — под ее давлением Дума приняла это предложение.

Суд, видимо, счел это письмо веским показанием против меня, и защитники тоже зашептались. Они мне предложили самой выяснить, в чем тут дело.

Не входя в оценку обвинения по существу, я просила только судей обратить внимание на то, что такое письмо могло быть инспирировано человеком, хорошо знакомым

с законом о старом самоуправлении и совершенно не знающим закона о демократических Думах. Раньше городской голова был и председателем Думы — именно такую практику знал Барзинский, в период своего главинства. По новому же закону власть исполнительная не смешивается с властью законодательной и председательствовать в Думе может любой гласный, только не член Управы и не городской голова. На этом основании совершенно бесспорно, что я председательствовать на собраниях Думы не могла. Утверждение же обратного — не случайное недоразумение, а практика, слишком хорошо известная человеку, которому это письмо понадобилось. Этим разоблачением была сильно подорвана достоверность показаний Барзинского.

Показания свидетелей защиты были очень характерны, так как ярко рисовали ту панику, в которой находились при большевиках обыватели. Из-за этого общий тон показаний делал мою работу гораздо более героической и рискованной, чем она была на самом деле. Совершенно исчезал момент споров и азарта, которым определялись все соприкосновения с тогдашними большевиками. Часто в известных мне фактах я все же не узнавала себя, до такой степени моя роль в них принимала гипертрофические размеры. Во всяком случае приходилось скорее сдерживать свидетелей, чем развивать их показания.

Прокурор произнес довольно сдержанную речь, а о речах защитников не буду много говорить, потому что один из них дошел до того, что начал проводить параллель между ролью Канта в Кенигсберге под Наполеоном и моей ролью в А. под большевиками.

В последнем слове я просила суд обратить внимание на то, что, будучи членом партии с.-р., я считаю для себя обязательными все партийные постановления. Среди них есть постановление об исключении из партии всех, принимающих активное участие в большевистском государственном строительстве.

Но для суда была, конечно, невероятной работа с.-р. против коммунистов. Во всяком случае точного приказа о привлечении к суду за принадлежность к партии с.-р. у них тоже не было.

В результате суд признал меня виновной, но ввиду наличия смягчающих обстоятельств приговорил меня к двум неделям ареста при гауптвахте.

Потом я попала под амнистию.

Делом моим заинтересовались не только екатеринодар-

ские газеты, но и в советской прессе оно имело отклик. В «Известиях» был отчет о моем процессе. Там моя антибольшевистская работа приняла размеры совершенно гипертрофические.

Тем, собственно, и кончился эпизод моего головинства.

Оглядываясь назад, я все же уверена, что была права, стремясь что-то противопоставить большевистскому натиску. Думаю, что по точному смыслу должности городского головы я должна была это сделать — таков был мой гражданский долг. Думаю, что так я поступила бы, если бы и не было даже некоторых благоприятных обстоятельств в нашей обстановке.

Кроме того, в масштабе государства или большого города различная партийная принадлежность влечет за собой безусловную вражду и полное непонимание друг друга по человечеству. В масштабе же нашей маленькой А. ничто не может окончательно заслонить человека.

И стоя только на почве защиты человека, я могла рассчитывать найти нечто человеческое у своих врагов.

А в революции, — тем более в гражданской войне, — самое страшное, что за лесом лозунгов и этикеток мы все разучаемся видеть деревья — отдельных людей.

ВОПРОСЫ РАЗОРУЖЕНИЯ В ЛИГЕ НАЦИЙ¹

С 18-го по 26-е мая настоящего года при Лиге Наций работала комиссия, имевшая своим назначением подготовить созыв Международной конференции по вопросам сокращения и ограничения вооружений.

Откуда получила начало эта Комиссия, каков ее состав, какими вопросами она занималась и в какой связи эти вопросы находились с прежними работами Лиги Наций по замирению народов? К каким, наконец, выводам пришла эта Комиссия, носившая столь многообещающее название?

На все эти вопросы русский читатель мог найти лишь очень скудные и разрозненные ответы в ежедневной печати.

Впрочем, читатель, если он пессимистически настроен вообще к вопросу об упразднении войны и к идее установления на земле «вечного» мира, с горькой усмешкой встретит и мой очерк; в лучшем случае он скажет про себя: «Праздная затея интересоваться этими вопросами. Жизнь есть непрестанная борьба, и кто хочет вечного мира —